

*Пусть мне твердят, что есть края иные,  
Что в мире есть иная красота.  
А я люблю свои места родные,  
Свои родные, милые места...*

*Из песни*

Сказывают древние книги, будто великий Дионисий, замыслив расписать ново-явленный храм, собирал холщовую подорожную и уходил окрест — в лесную тишь, в одинокое раздумье. Заповедная нехоженность Ферапонтова межозерья, пряный ладанный дух разомлевших златоствольных боров и хрусткая настороженность под их сомкнувшимися кронами, где далеко слышать, как стремительно возносится, шуршит коготками по сухому корью осторожная белка или как слюдяно, ломко трепещет крылами стрекоза над фиолетовой свечкой кипрея, — это тихое общение с птицами, травами и родной землей отрешало схимного живописца от расслабляющей повседневности, очищало и возвышало душу, звало куда-то ввысь и заодно собирало воедино, копило в нем слабеющие силы для очередного бессмертного творения.

Но была в том одиноком скитании и своя корысть: пройдет ли Дионисий верхово-льчем, берегом ли ручья, сам тем временем неотступно высматривает всякие земные обнажения. Растирает в щепоти мелки и глины, крошит пестиком известняки и цветные камушки, подобранные на перекатах, толчет их в порошок в походной ступе, а потом замешивает в плошке на ключевой воде, пачкает цветной кашицей припасенные дощечки. И долго глядит сощурыясь, примериваясь к полученному колеру.

Казалось бы, что можно извлечь из этих спешихся комьев, из овражных осыпей, озерной гальки или сумрачных ливневых размывов... Но посмотрите на многовековые невянущие фрески, и вы затихнете восхищенно: какое празднество красок! Хотя и нет здесь ни откровенно красного, ни синего, ни зеленого... Любил тонкий художник мягкие, нежные тона, почти неощутимые переходы, от которых сладко благоговела, смягчалась современная ему человеческая душа, теплилась надеждой. Розово-красный, он укрощал до легкой розовости или малиновости, душную зелень смягчал до прозрачной овсяной зеленцы, а охру — до золотистой соломиности. А между этими умягченными тонами неприметно пускал еще больше умягченные тоналности, и оттого все храмовые росписи — и на стенах, и на сводах, и на опорных столбах — обретали воздушно-легкий, серебристо-радужный колорит, подобный то ли цветной изморози, то ли нерукотворному узорочью. И эта тонкая, неуловимая для глаза вибрация полутонов сообщала живописи чарующее необыкновение!

К расцвету своего мастерства Дионисий извлек из окрестных долов, яруг и холмушек около ста сорока видов красителей и был убежден, что это далеко не все и что красочному воссиянию русской земли несть предела. Надобно только воистину

загореться, захотеть одержимо в земной обыкновенности увидеть сокрытую красу и радость и уловить, подглядеть в простой невзрачной тверди как бы застенчивую, но всегда дивную, нежную улыбку матери-природы. «Подвижничество — это великое, радостное, как и всякий труд во всеобщее благо и всеобщее спасение, и сил на то утаивать не можно», — думал о своем призвании Дионисий.

В наше время, однако, уже никто не скитается по глухим яругам с пестиком и ступкой. Ныне «улыбку природы» можно без хлопот приобрести в магазине «Канцтовары» или даже в ином просвещенном сельпо. Продается она уже в готовых тюбах. Удобно и просто: отвинтил колпачок, надавил большим пальцем на округлое матово лоснящееся брюшко упаковки — и — пожалуйста! Благо, что и всякие кисти, холсты, картоны, уже загрунтованные, готовые к исполнению, тоже продаются в достатке. Достигнутый прогресс избавил современного живописца от самой докучливой (с нашей точки зрения) обузы — добывать необходимые краски, освободив его для чисто творческого дела: бери кисть и — твори, выдумывай, пробуй! Было бы и вовсе бесхлопотно, если бы вот так же запросто, нажав пальцем, можно было выдавить из одного тюбика, скажем, необыкновенный замысел, а из другого — вдохновение. Или, допустим, зашел в ателье и заказал себе пару крыл для творческого взлета...

Но, видно, искусство не терпит расслабленности, тем более сделок с совестью, порождающих леность душ и меркантильные помыслы. Напротив, оно требует постоянного преодоления задуманного, способствуя, в свою очередь, преодолению художником самого себя и захватывая его той одержимостью, когда, как сказал Дионисий, «сил... утаивать не можно». Так что, как ни всемогущ прогресс, но вдохновения в лавке пока не купишь. Тут изощренный человеческий ум спасовал, ничего не придумал, и все, что касается творческого взлета, осталось по-старому, как и при Дионисии: если хочешь чего достичь — иди и поклонись родной земле. Все остальное — от лукавого.

Тут подоспела пора рассказать одну наглядную притчу.

В послевоенную неустроенную пору откололась от голодной деревни, от обессиленной курской земли тетушка моя Валентина. Не выдержала молодая девка лебеды, завербовалась куда глаза глядят, и завез ее оргнабор аж в озерно-скальную Карелию. Там она сделалась заправским подрывником, нажила семью и до самой пенсии и в снег, и в слякоть прочертоломила в каменном карьере. Всю жизнь проходила в закоженелой брезентовой робе, в железной каске поверх платка, с милицейским свистком на шее, дабы никто не угодил под тротилловую шашку. Ушла на заслуженный вся простуженная, с негнущейся спиной и огрубелыми, почти окаменелыми пальцами. И лишь тогда только наконец вырвалась на родину — через тридцать шесть лет! Ну, конечно, воды за это время утекло много. Приехала в прежнюю свою деревню, сама никем не узнаваемая, ничего и никого не узнавая: все переменялось, перестроилось, ни одного знакомого дома на деревенской улице, ни одного знакомого лица... Глядит вокруг тетка Валентина, волнуется, силится что-то вспомнить, вздыхает горестно, и слезы непроизвольно катятся по ее широкому заветренному лицу, капают за тучную пазуху.

— Ох, девки милые! — запричetyвала она, глядя на реку. — Вы хоть все скопом живете, на прежнем месте. А вот я, сорока, залетела... Да чего уж теперь говорить, жизнь прожита: там у меня дом, внуки, корова теперь в окошко тычется: хозяйку ждет... А все ж душа моя напополам разрывается. Тут-то мне все роднее: вот и небушко — без хмари, и ветер наш, травный, покосный... Чуете: живой чебрец! — Она шумно вздыхает, ловит распахнутым ртом полуденный ветер и, не вытирая слез, говорит: — Вот полечу обратно, теперь, видать, уж насовсем. Не свидимся больше. Ничегошеньки мне не дарите на прощанье, ничего не надо, все у меня теперь есть: шмутки, полированная скарбота... Только дайте набрать землицы! Хоть горсточку, хоть щепотку... Я ж по ней бегала босой да несмышленной. А теперь мама наша под

ней лежит... Вот повезу с собой жменьку, хоть когда прикоснусь, понюхаю, а не то в слабую минутку потужу-погорюю, что так у меня нескладно получилось...

И вот вопрос: что же, выходит, Карелия для тетки Валентины — не своя земля, чужбина? Своя-то она своя, советская, одна, общей границей опоясанная, а для тетушкиных детей — даже родина. Но так вот устроена душа человеческая, что внутри общего для всех нас отечества у каждого есть еще и особый уголок, та заветная земля, где, как говорят, пупок ниткой вязан.

Если бы человеку дано было выбирать себе малую родину, то один предпочел бы берег южного моря, где благодатно зреют виноградные гроздья под неумолчный накат белопенной ласковой волны. Другой выбрал бы величавые горы, у подножия которых трепещет радуга над водопадом, роняя цветные дождики на гранатовые рощи. Третий избрал бы соседство могучей реки, пахнувшей арбузами, плотами, рыбой, большой открытой водой, а еще — дизельным дымком от натужно выгребающих против течения упористых буксиров. А может, кто-то выбрал бы себе ту же синеокую Карелию, которая и на самом деле прекрасна своей Онегой — озером, рубленой стариной и белыми посеребренными ночами, или огнедышащую вулканами Камчатку, где по спинам идущих на нерест лососей, сказывают, можно перейти на другую сторону реки...

Но родину, как и мать, не выбирают. Она у всех такая, какая досталась от дедов и отцов.

Нам, курянам, досталась по наследию Курская земля.

Нет у нее ни морских берегов, ни горных радужных водопадов, ни могучих рек... Ее небо не багрянит огненные жерла вулканов, оно не мерцает дивными всполохами северного сияния.

Бунин назвал эту местность сдержанным, но все-таки удивительным словом: подстепье. Мол, оно, конечно, у вас тут уже далеко не те леса, что, скажем, за Орлом, под Белевом и Тарусой, и еще не те раздольные степи, каковые раскинутся южнее, по-за Доном и по причерноморской Таврии, нет, не то и не другое, а нечто смешанное, среднее между лесами и степями — вот именно лесостепь, или по-бунински: подстепье. Ну, а ежели положить руку на сердце, то уж какая там нынче лесостепь... Потому как те невеликие леса, зашедшие к нам от северных соседей, мы, неразумные, порядком извели, а прежние степушки тоже начисто позапахивали, оставив разве что самую кроху былой степи в стрелецком заповеднике. А еще про нас говорят: среднерусская полоса, и в этом бесстрастном обозначении есть привкус какой-то безликой усредненности. Ко всему тому известный поэт сделал такое наблюдение, может быть, не совсем лестное для курянок, хотя он, по его же признанию, никого не хотел обидеть:

*Очевидный факт, но не печальный,  
Так как все курносые носы  
Вырастают у людей  
Центральной,  
Русской,  
Черноземной  
Полосы.*

Что и говорить, не так-то просто ухватить, воспроизвести, запечатлеть вот такую неэкзотическую, неброскую, не степь, и не лес, землю. Какими красками писать? На какие надавливать тюбики? Хорошо было, к примеру, Сарьяну: давил на все краски сразу, особенно не присматриваясь. Кажется, тыкал кистью, не глядя. И везде попадал...

Но вот закрываю глаза, и — трепетно обмирает сердце — вот она, родимая! Взгорья и ложбины, и опять холмы. Вверх — вниз, вниз — вверх... Будто дышит, словно это ее глубокие, натруженные вздохи...

Тут мы и живем, между этими вздохами. Здесь, в заветрии, промеж холмов, приоткрылись наши тихие ракитовые деревушки с мычащими телятами на приколе, с гераньками и неказистыми цветками под названием «мокрый Ванька» в нехорошных оконцах. В этих-то деревеньках, до которых не всяк раз без сапог доберешься, и обитают наши среднерусские, черноземные женщины, а то и наши матери и сестры, и все, что живет около и держится за них, — от внуков до кошки и курицы. Пусть не красавицы, пусть курносы, не очень-то белолицые и не дюже причесанные, а чаще в наспех наброшенных платках и расхожей одежке, но сколько сделавшие своими корявыми, огрубелыми, навсегда утратившими прежнее девичье изящество руками! Не счесть того, что переворочали они, перетаскали, перелопатили, перевезли, переположили, перечистили навозу и бураков, передоили, перенячили поросят, телят и ребятишек! А сколь перемерзли, передрожали, перемокли, пережарились, перепотели на этих вздыбленных холмистых пашнях! Сколь перетерпели, перемогли, перемолчали радикулитов, ломоты в пояснице, мужицкого сквернословия, начальственного невнимания...

По лощинам и межгорьям, в лозняках и ольшаниках текут наши робкие, пугливые речушки, воды которых потом питают, поддерживают красу и славу легендарного Дона и досточтимого Днепра, который столь могуч, что, по словам Гоголя, редкая птица долетит до его середины... где-то там, действительно, плывут величавые белые теплоходы, горят рубиновые бакенные огни, а на закате плещутся, играют осетры... Здесь же, конечно, все поскромнее, у нас тут свои картины. Правда, весной такая вот бессловесная речушка вдруг зашумит, захорохорится, как подгулявший сторож, какой-нибудь дед Филя в перевернутом треухе, даже своротит и унесет чей-нибудь забор, раскидает дрова или припасенный лес на новую избу... Но буйства этого разве что на пару-тройку ден. А потом дед Филя поправит как надо шапку, улыбнется виновато и покается: погулял малость, и будя! Так и речушка: покуролесит да и умиротворенно разольется по лознякам, греясь на мелком, на солнышке. В такие раннеапрельские дни, еще при ночных морозцах, доверчиво, пухово зацветают ветлы, начнут золотить пылью темную подножную воду. Там, у реки, по-весеннему пьянице пахнет талой землей, просыхающими пнями, прошлогодними трубками дягиля, терпким черемухным окорьем. Стрекошет на колючей груше сорока, снует, вскидывает вороненым, с отливом, хвостом, облюбовывает себе неприступное местечко для гнездовья. Трудно, неуверенно погудывают возле ветел первые, еще слабые после зимовки пчелы. Иные, не одолев разлива речушки, плюхаются в омуток и потом долго и напрасно зыбят крыльями воду, пока не заметит верткий голавлишко и не чмокнет пчелу жадно разверстым зевом.

Это внизу, у воды. По склонам же теплых, нагретых угорий, на уже перекопанных под картошку огородах водят своих замурзанных, обтрепавшихся за зиму кур женихастые петухи, показывают им червяков и, пока те ссорятся из-за подношения, самодовольно и громогласно горланят на всю округу. Еще же выше, на междуречьях, напористый ветер уже пылит подсыхающей дорогой, гонит первые волны озимых, рвет и полощет пока еще не выцветший кумачовый флажок на тракторной будке. А над всем этим — над полями и логами, где дымит зеленовато-желтым дымом светлый, пронизанный солнцем орешник, над чернопашьем, над блюдцами талой воды и бурьянистым омежем с пригревшимися там курскими куропатками, над скирдами старой, побуревшей соломы и прокладывающим первую борозду трактором, слепяще высверкивающим лемехами, — над всей этой суетой и благодатью серебряно звенят, ликуют, захлебываются радостью бытия наши курские простенькие птицы — жаворонки. А еще будет на этой земле лето, для которого понадобятся новые и совсем другие краски — приспеют долгожданные деньки с раскатыстыми громами, солнцеструйными ливнями, с белым цветом калины и медовым дыханием подмаренника, с радостной сенокосной порой, когда луга вдруг наполнятся веселым гамом скоротечной работы, белыми бабьими платками и льняными головенками ребятни, когда повеет волнующим ароматом скошенных и привядших валков, а по-

том, через неделю-другую, в сумерках, под взошедшей глазастой луной таинственно возвысятся стога, роняющие долгие тени...

И будет потом наша золотая черноземная осень, когда в бездонной сини бабьего лета поплывут невесты куда серебрястые пряди, а из отяжелевших садов еще за версту запахнет знаменитой курской антоновкой, с которой, право, не знаем, что делать, куда девать, потому как в самый раз надо убирать тоже знаменитую курскую картошку, известную всему Донбассу и даже на Кубе, а заодно не приходится мешкать со всеми клятыми чумазыми бураками, которые потом, однако, отмоют и наделают белейшего курского сахара на потребу каждого шестого жителя России. И зашумят, загомонят по курским городам и весям осенние кустодиевские ярмарки.

А там чередом нагрянет зима с заячьими набродами в белых полях, с завораживающей тишиной в перелесках, с ребячьим галдежом, звоном коньков и клюшек на застывшем пруду, с ранними сумерками и уютными огнями в деревенских окошках.

А еще у этой земли есть своя история. Долгая, древняя, уходящая в туманную глубь веков.

Черным сощуренным глазом ревниво и алчно следила за Русью некрещеная степь, и несчетно раз горели посеимские селения от набегов хазар, печенегов и половцев. И потому северский суровый пахарь или, по-тогдашнему, севрюк — житель здешних подстепных окраин, идя на пашню, брал с собой топор или бердыш.

*...Москва еще лежала в колыбели,  
А Курск уже сражался за Москву...*

За Москву и за самое себя сражалась эта земля и на своей огненной дуге в срок третьем. Вглядимся в эти холмы, особенно на закате солнца, когда косые лучи высвечивают всякую неровность, и мы увидим все еще не изгладившиеся шрамы минувшего побоища. Оплывшие, заросшие боярышником и чередой, старые окопы по-прежнему опоясывают околицы деревень, пересекают нераспаханные суходолы, змеятся по лесным окраинам и овражным вершкам. А сколько отрешенно белых обелисков, молчаливых и скорбных в своем одиночестве возносятся на здешних высотах!

У войны тоже свои краски.

Да, нелегко воссоздать облик этой не так уж и простой земли без сыновней чуткости и бережности. Но кто поймет ее, для того и она откликнется доверчиво и щедро всеми своими красками, как некогда белозерская земля раскрылась бесконечным и дивным свечением перед внемлющей душой Дионисия.

И выходит, что вовсе не в купленных тюбиках сокрыты нужные краски. Об этом как-то так язычески, зримо и очень верно сказал поэт Эдуардас Межелайтис:

*Из маков — красную, из одуванчиков — желтую,  
Из пепла — серую, из угля — черную  
Сделали краски, смешали, развели на полотне,  
Сотканном из трав земли, написали портрет земли.*

Мне почему-то видится она в облике среднерусской женщины, много поработавшей, народившей много сыновей и дочерей, с усталой, но доверчивой и доброй улыбкой. И на коленях у нее большие теплые руки...\*



\* Рассказ предоставлен к печати Курским литературным музеем.